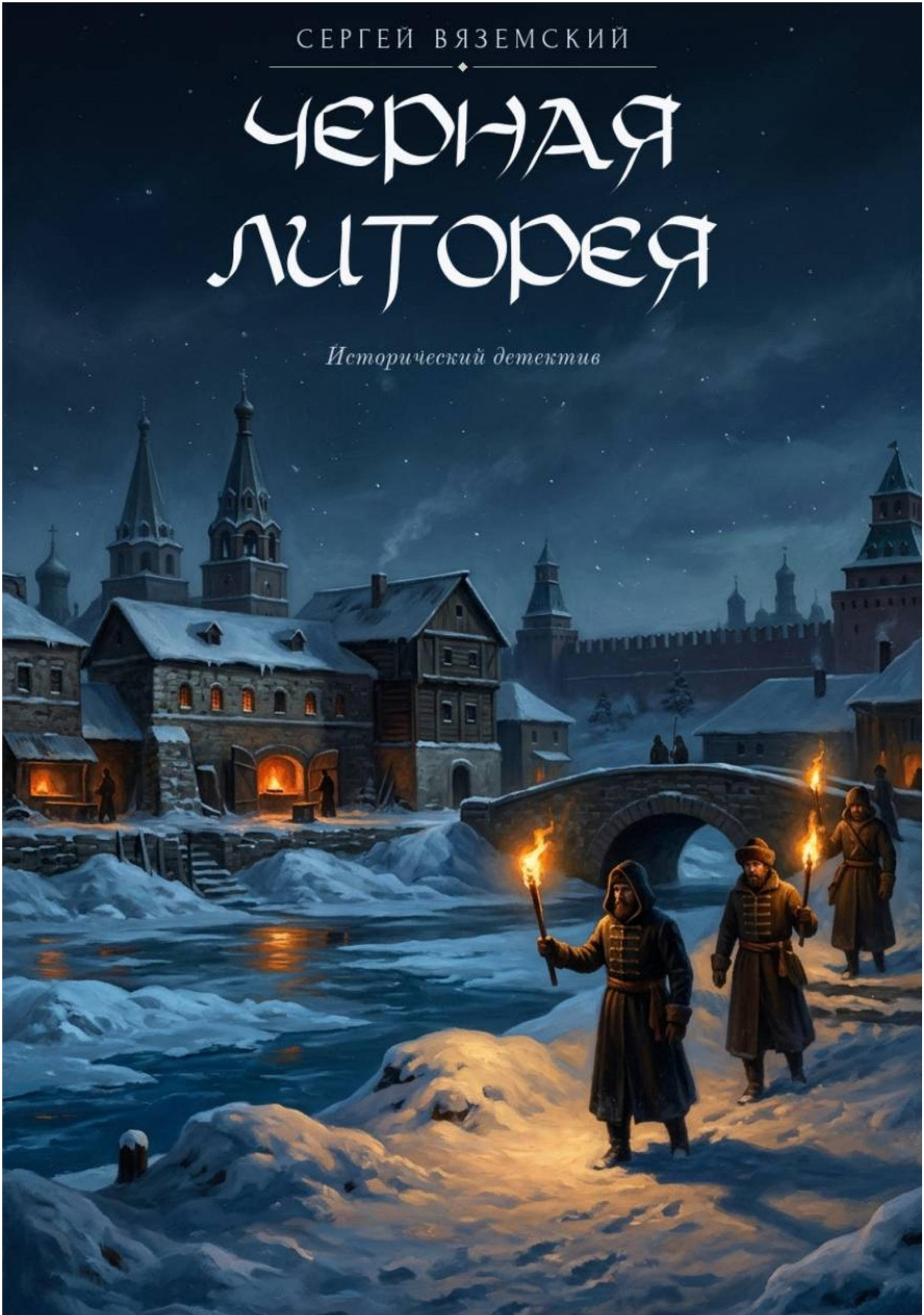
СЕРГЕЙ ВЯЗЕМСКИЙ

ЧЕРНАЯ ЛИТОРЕЯ

Исторический детектив



Сергей Вяземский

Черная литорея

«Автор»
2026

Вяземский С.

Черная литорея / С. Вяземский — «Автор», 2026

Зима 1699 года. В запертой изнутри литейной избе Пушечного двора на Неглинной находят мертвым главного царского пушечного мастера Фридриха фон Дорна. В зубах убитого немца зажат фальшивый серебряный талер, а секретная форма опытной нарезной мортиры разбита вдребезги тяжелым молотом. Расследовать тайну князь-кесарь Ромодановский поручает молодому подьячему Преображенского приказа Корнею Полуэктову и бомбардиру Елизару Гурьеву. Нити заговора ведут через зашифрованные пергаменты Черной литореи, кремлевские подземелья Чудова монастыря и воровские кабаки Таганки прямо к шведским шпионам, готовым утопить Москву в огне в канун нового столетия.

© Вяземский С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Утро у Красных ворот 5
Глава 2. Зола в тигле 9
Глава 3. Застенок на Преображенском 13
Глава 4. Склянки Аптекарского приказа 17
Глава 5. Немецкая слобода 21
Глава 6. Терем на Кулишках 25
Глава 7. Палата Пушкарского приказа 29
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Сергей Вяземский
Черная литорея

Глава 1. Утро у Красных ворот

Ноябрь двадцать четвертого дня лета семь тысяч двести восьмого от сотворения мира занимался над Первопрестольной тяжело и неохотно, словно сама земля не желала пускать на свои колокольни тусклый предутренний свет. Над низкими деревянными кровлями Белого города висел липкий, едкий туман, смешанный с запахом сырого березового дыма, замерзшего конского навоза и студеной речной тины. С севера тянуло мелкой колючей крупой. Она не ложилась сугробами, а лишь тонко выбеливала рытвины на мерзлой грязи, припорашивала дубовые мостовые плахи и оседала серым инеем на овчинных воротниках сторожевых стрельцов у ворот Земляного города.

Подьячий Преображенского приказа Корней Никитич Полуэктов проснулся за четверть часа до первых ударов постового колокола. В его тесной горнице на Варварке, во флигеле отцовского двора, еще держался сухой дух сушеной мяты и старой бумаги, но от слюдяных оконцев уже веяло близким декабрьским холодом. На дубовом поставе рядом с рукописной Псалтирью в кожаном окладе тускло поблескивали два заморских предмета, к которым домашние слуги боялись прикасаться даже во время уборки: медный голландский секстант в полированном ореховом футляре и круглая двояковыпуклая линза в оправе из китового уса, привезенные Корнеем из Зандама полтора года назад.

Стук в ворота был не просто громким, он нес в себе ту особенную, безотлагательную гибельную спешку, от которой у приказных людей холодело под ложечкой. Удары кованого кольца по дубовым брусьям отдавались в переулке гулко, пугая дворовых псов. Через минуту старый слуга Антип, запахивая на худой груди замасленный зипун, уже вводил в сени приземистого, запыхавшегося человека в зеленом солдатском кафтане Преображенского полка.

«Вставай, Корней Никитич», хрипло, со свистом в остуженном горле проговорил солдат, сжимая в мокрых рукавицах опечатанную свинцовой пломбой берстяную плашку. «Сам князь-кесарь кличет. Не в полковую избу в Преображенское, а прямо на Неглинную, к Пушечному двору. Там такое стряслось, что до полудня головы с плеч посыплются. Старого немца мастера кончили, а ворота на три засова заперты были».

Полуэктов не стал тратить слова на расспросы. За два года службы под началом князя Фёдора Юрьевича Ромодановского он твердо усвоил главное приказное правило: чем меньше кричишь на пороге, тем целее останется язык. Он натянул толстые суконные порты, шерстяные чулки, высокие юфтевые сапоги на двойной подошве, подбитой медными гвоздями, и надел темно-вишневый суконный кафтан с узкими рукавами. Поверх кафтана лег подбитый лисьим брюшком дорожный охабень с длинным капюшоном. В кожаную переметную суму Корней привычно уложил дорожную чернильницу из рога, связку гусиных перьев, нож для зачистки со свинцовой рукоятью, три листа чистой александрийской бумаги, свернутые в трубку, и свою заветную голландскую лупу.

На улице мороз прихватывал кожу щек жесткими щипками. Конь солдата мелко переступал копытами по мерзлым колеям, с храпом выдыхая белые клубы пара. До Неглинной добрались скорой рысью, миновав сонные торговые ряды Китай-города, где сторожа с трещотками только начинали отпирать тяжелые железные запоры на хлебных и соляных лабазах. У Кузнецкого моста через Неглинку дым стоял коромыслом: в кузницах уже раздували мехи, и малиновые искры гасли в сером тумане, не долетая до темной воды, скованной у берегов тонким заберегом.

Пушечный двор встретил их не привычным рабочим гулом, не грохотом молотов и не тягучим скрипом воротов, поднимающих тяжелые медные опоки, а зловещей, мертвенной тишиной. Высокий бревенчатый частокол со сторожевыми вышками был оцеплен солдатами Семеновского и Преображенского полков. Мушкетеры с фитилями наготове стояли через каждые десять саженей, угрюмо поглядывая на редких прохожих. У главных ворот переминались с ноги на ногу десяток стрельцов в синих кафтанах под началом своего сотника Матвея Ржевского. Лицо сотника, бледное, со следами бессонницы и глубоким косым шрамом на подбородке, дергалось в нервном тике.

«Где тело?», коротко спросил Полуэктов, спешиваясь и передавая поводья преображенцу.

«В главной литейной палате, Корней Никитич», ответил сотник Ржевский, стягивая шапку и крестясь на купол соседней церкви Спаса на Глинищах. «С утра сторож печной, Терентий Сысоев, полез угли шевелить в остывочной яме да и заголосил на всю слободу. Мы подбежали, а засовы изнутри задвинуты, и дубовый брус на железных проушинах лежит. Пришлось топорами пробой рубить. Ни одна живая душа со двора не выходила, клянусь Спасителем и Пречистой. Снег вокруг чистый, словно простыня в девичьем тереме».

Полуэктов оглядел просторный двор, вымощенный серым плитняком и усыпанный черной окалиной, литейной гарью и мелким речным гравием. Свежая утренняя пороша действительно лежала ровным, тонким слоем. На ней четко отпечатались лишь следы караульных, бежавших к дверям литейной избы, и широкие борозды от подошв тяжелых солдатских сапог. Никаких чужих отпечатков, ведших к глухим стенам или от них, видно не было.

Они поднялись по трем широким каменным ступеням и шагнули в темноту литейной палаты. Воздух здесь был особенным, густым и тяжелым. Он пах остывающей медью, пережженной глиной, древесным углем, конским волосом, который литейщики добавляли в формовочную смесь для прочности, и еще чем-то сладковато-тошнотворным, от чего у Корнея мгновенно пересохло во рту.

В центре громадного сводчатого покоя чернела шестиугольная литейная яма. Над ней на железных цепях висел массивный чугунный ковш, в котором еще вчера кипел расплав бронзы. А прямо перед кирпичным челом остывающей плавильной печи, в массивном кресле из полосового железа, сидел человек.

Это был Фридрих фон Дорн. Семидесятилетний литейный мастер, выписанный в Москву из Любека еще покойным государем Алексеем Михайловичем, выглядел так, словно уснул посреди тяжелой ночной работы, если бы не страшная, неестественная неподвижность его позы. Его голова в темном суконном колпаке была откинута на спинку железного кресла. Седая косматая борода разметалась по груди, но ворот рубахи из грубого холста был разорван до самого пояса.

Полуэктов медленно приблизился, стараясь ставить ноги точно в следы солдат, и опустился на колено перед мертвецом. Свет масляного фонаря, который держал сотник Ржевский, выхватил из полумрака страшные подробности.

На обнаженной, морщинистой груди старика темнели три круглых ожога величиной с копеечную монету. Они образовывали идеальный равносторонний треугольник, вершиной направленный строго вверх, к адамову яблоку. Края ожогов были ровными, глубокими, дочерна обугленными, но вокруг них почти не было воспалительной красноты, какая неизбежно возникает на живом теле при прикосновении каленого железа.

«Гляди на рот, Корней Никитич», шепотом, словно боясь разбудить усопшего, проговорил сотник Ржевский. «Мы как фонарь поднесли, чуть чувств не лишились».

Корней поднял фонарь выше. Челюсти мастера были слегка раздвинуты и окостенели. Между посиневшими губами, глубоко зажатый передними зубами, блестел тяжелый серебряный кругляк. Полуэктов достал из сумы костяные щипчики, осторожно коснулся монеты

и слегка приподнял ее. Зубы немца держали серебро мертвою хваткою. На широком кругляке проступил чеканный рельеф: погрудный портрет курфюрста в пышном парике и латинская круговая надпись. Это был не русский серебряный алтын и не крошечная проволочная копейка-чешуйка, а полновесный иоахимсталер голландской или бранденбургской чеканки, какие в Москве принимали на казну только на вес серебра.

«Зачем ему серебро в рот совать?», пробормотал сотник. «Неужто язычники какие или раскольники окаянные душу его поганили?».

«Раскольники серебряных талеров с латынью в рот не кладут», тихо ответил Полуэктов, не поднимая головы. «И треугольников каленым железом не жгут. Это чужая грамота, Матвей. Очень давняя и опасная».

Корней выпрямился и осмотрел верстак, стоявший по правую руку от железного кресла. На полированной дубовой доске, покрытой слоем серой пыли и графита, царил странный порядок. В ровный ряд были уложены стальные зубила, чеканы, гладилки из самшита и деревянные калибры. Но в самом центре верстака, где на чистом лоскуте войлока обычно лежали главные инструменты мастера, зияла пустота.

«Где его циркули?», спросил Полуэктов, оборачиваясь к жавшемуся у двери старику в длинном стеганом тулупе. «Терентий, ты сорок лет здесь печи топишь. Где штангели и кривоногие циркули мастера?».

Старик истопник Терентий Сысоев мелко затрясся, упал на колени и забил поклоны прямо в каменный пол:

«Христом Богом молю, Корней Никитич, не губите сироту! Не брал я! Фридрих Иванович никому те циркули в руки не давал, в латунной коробке на груди под кафтаном носил. Говорил, там шкала особенная, по долям дюйма насеченная, какую сам в Амстердаме у мастера Гюйгенса заказывал. А пуще того, матрица пропала!».

Полуэктов нахмурился, перешагнул через канаву для отвода шлака и подошел к низкой кирпичной оградке в углу палаты. Там, на дубовых колодах, стоял невысокий деревянный верстак с зажимами. В этих зажимах еще вчера находилась разъемная бронзовая форма - секретная матрица новой винтовальной мортиры малого калибра, которую фон Дорн отливал по личному соизволению и чертежам самого государя Петра Алексеевича. Зажимы были вывернуты с мясом, на полу валялись обломки дубовых клиньев, а сама тяжелая матрица, весившая не менее полутора пудов чистой колокольной меди, исчезла бесследно.

«Полтора пуда бронзы в карман не спрячешь», задумчиво произнес Корней, обводя взглядом высокие своды, под которыми висели тяжелые паутины, тронутые морозным паром. «И через забор с таким грузом не перемахнешь, когда мушкетеры с заряженными ружьями круг двора ходят. Значит, либо матрица еще здесь, на дворе укрыта, либо...».

Он не договорил. Его взгляд упал на пол возле железного кресла. Там, среди серых хлопьев кокса и мелкой кирпичной щебни, лежал крохотный, величиной с ноготь, обгорелый треугольник пергамента. Полуэктов осторожно поднял его кончиком ножа. На желтоватой плотной коже отчетливо виднелись три знака, выведенные чернилами с густым металлическим блеском. Первый знак был греческой буквой тета, второй представлял собой славянскую цифирную букву с титлом, а третий походил на знаменный крюк старинного церковного распева.

Это была литорея. Но не простая тарабарская грамота, которой приказные дьяки шифровали челобитные о взятках, а темная, сложная тайнопись, корни которой уходили в тайные европейские трактаты и закрытые палаты Посольского приказа.

«Ничего здесь руками не трогать», строго приказал Полуэктов сотнику Ржевскому. «К телу никого не пускать, даже дьяка Пушкарского приказа Лутохина, если заявится. Ворота запереть на прежние засовы, у пролома поставить караул из преображенцев. Я еду к князю-

кесарю. И помни, Матвей: если хоть единое слово о талере или об ожогах уйдет за ворота, допрашивать тебя будут не в приказной избе, а на дыбе в застенке».

Сотник истово перекрестился и прижал руку к груди. Корней спрятал пергаментный клочок в роговой пенал, запахнул поплотнее охабень и вышел на морозный воздух. В сером небе над Кремлем кружили черные стаи галок, предвещая скорую тяжелую метель. Времени у него было в обрез: если верить солдату, государь Пётр Алексеевич уже собирался выехать из Воронежа, где инспектировал постройку азовских галер, и горе тому, кто встретит царя вестью о гибели главного пушечного мастера державы.

Глава 2. Зола в тигле

Прежде чем садиться в легкие сани и скакать в Преображенское к грозному князю-кесарю, Корней Полуэктов задержался на Пушечном дворе еще на добрых полтора часа. Он слишком хорошо знал крутой, вспыльчивый и скорый на жестокую расправу нрав правителя Первопрестольной столицы: Ромодановский органически не терпел пустых догадок, туманных бабьих толков и на приказных дознавателей смотрел волком, если те прибегали с пустыми руками и трясущимися поджилками. В тайном застенке на Яузе ценились не витиеватые речи, а точные сажени, вершки, золотники металла и нерушимая улика, прибитая к судебному делу, словно кованый гвоздь к солдатской подметке.

Корней решительно вернулся в холодную литейную палату, приказав сотнику Ржевскому выставить караульных стрельцов за дубовый порог и ни единой живой души не впускать внутрь без его личного клича. С ним в палате остался только старый печной истопник Терентий, мелко дрожащий всем худым телом возле остывающего кирпичного чела плавильной печи.

«Ну-ка, дед, зажги еще две толстые сальные свечи да поставь их на каменный край тигля», тихо велел Полуэктов, снимая с кожаного пояса свою голландскую шлифованную лупу в роговой оправе из китового уса. «Да перестань истово креститься на каждый темный угол, не бесы здесь хороводы водили, а живые люди из плоти и костей, обутые в крепкие кожаные сапоги. Рассказывай мне все по порядку: когда ты старого мастера живым в последний раз видел?».

Терентий засуетился, высек кремнем искру на сухой трут, раздул сизый огонек и затеплил толстые сальные огарки в глиняных плошках. Желтый чадный свет заплясал по черным от многолетней копоти кирпичным сводам, выхватывая из полумрака серые холмы формовочного речного песка, ряды тяжелых дубовых кружал и пустые железные опоки, в которых отливали мелкие полковые пищали и чугунные ядра.

«Ввечеру, батюшка Корней Никитич, аккурат в начале шестого часа пополудни, как над Спасскими кремлевскими воротами колокол к вечерне отзвонил», торопливо зашептал сторож, утирая мокрый нос замасленной полою овчинного тулупа. «Фридрих Иванович сам плавильную печь со свечой осматривал. Дрова березовые требовал сухие, годовалой сушки, без коры, да чтоб береста начисто была соскоблена ножом: от нее, мол, копоть жирная и смолистая на расплавленную медь садится. Потом велел мне тигель смазать густой графитовой пастой и уходить в караулку спать. Сказал твердо, что будет лить опытную пробу на тайную винтовую нарезку один, без подмастерьев и подручных. Он и Осипа Боголепова, старшего своего литейщика, еще в полдень со двора с бранью прогнал. Тот шумел у ворот, в грудь себя кулаком бил, кричал, что немец русское мастерство ни во что не ставит, а мастер только рукой махнул: поди, мол, проспись, дурья твоя голова».

«А ужин ему кто приносил в палату?», спросил Полуэктов, медленно обходя железное кресло и пристально вглядываясь в пол под ногами мертвого немца.

«Мальчишка-полотер из трактира на Покровке прибегал в пятом часу», вспомнил Терентий, крестя лоб. «Принес глиняный горшок с горячими щами из кислой капусты с грибами, ломоть ржаного ситного хлеба да кувшин с горячим брусничным сбитнем на меду. Мастер сбитень очень жаловал, говорил, от него в груди живой огонь держится, когда у раскаленного горна часами стоишь. Горшок тот пустой на верстаке так и остался стоять, а кувшин... кувшин немец опрокинул, когда в кресло садился в беспамятстве, на каменном полу лужа намертво замерзла».

Корней опустился на колени прямо у подножия кресла. Его внимание привлекли доски пола под ногами погибшего старика. Пол вокруг кресла был густо посыпан белым кварцевым песком, какой употреблялся мастерами для тонкой формовки пушечных запальных отверстий. Но песок этот лежал неровным слоем. В двух вершках от левого сапога фон Дорна отчетливо

виднелась глубокая продолговатая круглая вмятина, словно кто-то опирался на деревянную клюку или тяжелый железный шомпол с круглым набалдашником. Рядом с этой вмятиной темнел слабый, но ясно различимый след чужого сапога с узким заостренным носком и мелкой медной подковкой на наборном каблуке. Такие узкие сапоги на заморский манер носили либо богатые купцы из Немецкой слободы, либо приказные франты, перенявшие польскую или саксонскую моду.

Корней навел лупу на след. На белом песке блестела крохотная, величиной с булавочную головку, застывшая капля сургуча. Но цвет ее был не казенным алым, какой полагался для царских и приказных грамот, и не черным монастырским, а редким, темно-зеленым, пахнущим терпентином и гвоздичным маслом. Зеленый сургуч привозили в Москву только гамбургские, любекские и амстердамские торговые факторы.

Затем Полуэктов подошел к массивной кирпичной плавильной печи. Горн был почти холоден, лишь из глубины нижнего поддувала еще тянуло слабым, угасающим теплом. На чугунной колосниковой решетке чернела бесформенная груда пепла. Корней достал костяные щипчики и осторожно принялся разгребать серую золу.

«Посвети ближе к колосникам, Терентий», негромко приказал он.

Под слоем легкого березового пепла лежали не обгоревшие поленья, а плотные комки обуглившейся бумаги и пергамента. На одном из уцелевших уголков, намертво прижатом к чугунному колоснику, сохранился четкий след медной гравированной пластины: тонкие концентрические круги, пересеченные лучами, и латинские знаки зодиакальных созвездий. Это была часть астрономической таблицы или артиллерийского прицельного круга. Но самое странное заключалось в запахе. От печи пахло не только древесным углем, но и резким, удушливым купоросным духом, словно кто-то плеснул в огонь крепкую водку, как в Москве называли азотную кислоту, или сыпанул серного порошка.

«Зачем литейщику жечь чертежи в собственной печи, да еще травить огонь кислотой?», пробормотал Полуэктов себе под нос, бережно извлекая обгоревший пергамент пинцетом. «Если только он не уничтожал следы своего главного секрета перед лицом смертельной опасности... Или же тот, кто пришел за ним во тьме ночи, методично сжигал бумаги, чтобы они никому больше не достались на Руси».

Корней поднялся на ноги, отряхнул колени и внимательно оглядел стены литейной палаты. Помещение было каменным, монолитным, сложенным из большемерного красного кирпича еще при царе Михаиле Фёдоровиче. Окна, узкие, словно крепостные бойницы, располагались под самым сводом на высоте трех саженей от земли и были наглухо затянуты частыми коваными железными решетками, сквозь которые не пролезла бы и дворовая кошка. Единственная тяжелая дубовая дверь вела на заснеженный двор, и она, по единодушному свидетельству сотника и сторожа, была заперта изнутри на массивный дубовый брус.

«Как же ты вошел, гость ночной?», прошептал Корней, запрокидывая голову к потолочным балкам.

Своды литейной палаты поддерживались толстыми просмоленными дубовыми брусьями толщиной в добрый охват. В одном месте, прямо над остывочной ямой, в потолке темнело квадратное отверстие дымника, через который во время плавки выходил тяжелый угарный чад. Дымник выходил на двускатную тесовую кровлю и завершался высокой кирпичной трубой с жестяным флюгером.

«Лестницу подай, Терентий. Да держи крепче за комли у пола», велел Корней.

Старик приволок тяжелую приставную лестницу с поперечными дубовыми брусками. Полуэктов полез наверх, не обращая внимания на паутину и вековую сажу, пачкавшую рукава его темно-вишневого кафтана. Добравшись до дымника, он высунул голову в квадратный зев люка. Отсюда на него пахнуло ледяным ветром и запахом первого снега.

Железные створки дымового клапана, которые на ночь полагалось наглухо закрывать с помощью цепи и противовеса, были распахнуты настежь. На заржавленных петлях виднелись свежие царапины до блестящего металла, а с одной из кромок свисал обрывок грубой просмоленной пеньковой бечевки.

Полуэктов осторожно выбрался наружу, на покатую тесовую кровлю литейного корпуса. С высоты открывался вид на весь пустынный заснеженный Пушечный двор, на чернеющие валы Земляного города и на белые громады кремлевских башен вдали. Внизу, у коновязи, мерзли стрельцы, переругиваясь приглушенным шепотом.

Кровля литейной палаты почти вплотную, с зазором всего в полтора аршина, примыкала к глухой деревянной стене соседних соляных амбаров, тянувшихся вдоль крутого берега Неглинки. Амбары эти принадлежали казенному ведомству Посольского двора и стояли запертыми с самой покровской ярмарки.

Корней опустился на четвереньки, ступая осторожно по обледенелому тесу. И тут же его сердце забилось быстрее.

На свежей утренней пороше, покрывавшей кровлю амбара, явственно темнела неширокая полоса. Снег здесь был не просто смят, он был аккуратно сметен обычным гусиным или можжевеловым помелом, каким слободские дворники выметают сор из изб. Но в двух местах, где деревянный конек амбара делал излом возле кирпичного брандмауэра, на досках остались глубокие, свежие вмятины от четырехзубых железных кошек, какими лазают на корабельные мачты заморские матросы или воровские люди берут приступом купеческие терема.

«Вот она, твоя тайная тропа», усмехнулся одними губами Полуэктов. «Со двора никто не входил, верно. А с улицы, по насыпи у Кузнецкого моста, подняться на амбарную крышу опытному человеку ничего не стоит. Прошел по коньку, спустился через дымник по веревке, открыл заслон... Но если он спустился сверху, как же он вышел обратно с полуторапудовой бронзовой матрицей за спиной? По гладкой веревке вверх такой тяжелый груз в одиночку не поднимешь».

Он внимательно осмотрел жестяной желоб водостока. Там, под слоем примерзшей листвы, валялся тонкий деревянный колышек с намотанным куском просмоленного шнура. Это был спускной фитиль, каким поджигают мины в подкопах или пороховые петарды при штурме крепостей.

Корней спустился обратно в палатку, где его с испугом ожидал старый Терентий.

«Ты вот что скажи мне, дед», строго спросил Полуэктов, отряхивая сажу с рукавов. «У Фридриха Ивановича ключи от потайных сундуков где хранились?».

«На шнурке шелковом на шее, батюшка. Там два ключика было: один маленький, латунный, от шкатулки с чертежами, а второй железный, с двойным коленцем, от казенного цейхгауза, где образцы пушек стоят».

Полуэктов снова подошел к телу мастера. Ворот рубахи был разорван, грудь обнажена. Шнурок на шее старика был перерезан острым ножом, на сухой морщинистой коже осталась тонкая полоска запекшейся крови. Ключей не было.

«Значит, искали не только матрицу», подытожил свои наблюдения Корней. «Искали чертежи и тайные расчеты. И тот, кто шел сюда, знал устройство дымника, знал расписание стражи и знал, что старик останется ночью один».

Он подозвал сотника Ржевского, который с опаской вошел в палатку, придерживая у бедра тяжелую офицерскую саблю:

«Матвей, караул твой в эту ночь кто возглавлял у Неглинных ворот?».

«Десятник Федот Косой со стрельцами, Корней Никитич», торопливо ответил сотник. «Люди верные, из старослужащих, в бунте не замешанные, клянусь крестом».

«Людей этих с караула снять, запереть в караульной избе и ни с кем из слободских знаться не давать. Если хоть одна живая душа проболтается о том, что видели на крыше и в печи, лично

на дыбу подвешу. А ты, сотник, поедешь со мной к князю-кесарю. Будешь сам перед ним ответ держать, почему у тебя по казенным кровлям воры с кошками гуляют, как коты мартовские».

Ржевский позеленел лицом, но спорить не посмел. Полуэктов аккуратно завернул найденный на крыше деревянный колышек с фитилем в чистый лист бумаги, опустил его в суму рядом с треугольником зашифрованного пергамента и шагнул к выходу. За порогом метель уже вступала в свои права: мелкий белый прах кружился над пушечными стволами, засыпая следы утренней суматохи и погребая под холодным саваном тайны уходящей ночи.

Глава 3. Застенок на Преображенском

Дорога в Преображенское тянулась вдоль скованной первым тонким льдом Яузы, мимо заснеженных пригородных огородов, скрипучих ветряных мельниц и унылых бревенчатых изб слободских ямщиков. Ветер здесь дул свободнее и яростнее, срывая с прибрежных ракит последние бурые листья и швыряя в лицо путникам колючую ледяную крупку. Корней Полуэктов сидел в узких санях-розвальнях, надвинув бобровую шапку на самые брови и кутая подбородок в теплый лисий воротник охабня. Рядом на облучке молча правил конем приземистый солдат-преображенец в темно-зеленом суконном кафтане, а позади, на скрипучей подводе под бдительным конвоем двух рослых мушкетеров, везли сотника Матвея Ржевского. Тот сидел ни жив ни мертв, втянув голову в плечи и не поднимая глаз на чернеющие вдали глухие сосновые рощи.

Село Преображенское уже давно перестало быть тихой загородной потешной вотчиной покойного государя Алексея Михайловича Тишайшего. Теперь это было грозное, ощетинившееся бревенчатыми палисадами, рвами и колючими рогатками военное сердце новой нарождающейся власти. Здесь стояли обширные казармы первых регулярных полков, гремели барабаны, свистели флейты, а над речной излучиной высилась каменная, мрачная громада Преображенской съезжей избы. В народе на московских посадах об этом месте говорили только приглушенным шепотом, трижды с опаской сплевывая через левое плечо: отсюда редко кто выходил своими ногами, а слово «застенок» жгло язык пуще каленого палаческого железа.

У массивных ворот приказного двора их встретил привычный для служилых, но от того не менее жуткий звук. Тяжелый глухой рев раскатился над бревенчатыми стенами, и из-за угла караульни показалась громадная косматая туша бурого медведя. Огромный сибирский зверь, посаженный на толстую железную цепь, намертво прикованную к врытому в мерзлую землю дубовому комлю, лениво переступал могучими когтистыми лапами по истоптанному снегу. Это была давняя любимая забава князя-кесаря: ручной медведь Мишка встречал всех челобитчиков и приказных гостей, держа в передних лапах массивный деревянный жбан с крепкой перцовой водкой. Тех, кто от страха пятился назад, кричал или отказывался пить за здравие князя-кесаря, свирепый зверь с глухим урчанием валил в сугроб и безжалостно сдирал когтями рукава дорогих кафтанов.

«Стой, не робей, подьячий», негромко бросил возница, осаживая коня у самого комля.

Полуэктов привычно и смело шагнул к медведю, низко поклонился зверю, сняв шапку, взял из его тяжелых, мохнатых лап жбан, обжигающе пахнущий анисом и жгучим красным перцем, сделал три полных глубоких глотка и вернул посудину зверю. Медведь довольно фыркнул, обдав лицо Корнея горячим кислым духом, и мирно уселся в глубокий сугроб, позволяя гостям беспрепятственно пройти к высокому каменному крыльцу. Сотника Ржевского солдаты волокли под руки, и бедный стрелец едва не лишился чувств от страха, когда косматая морда зверя тяжело ткнулась ему прямо в поясницу.

Внутри съезжей избы стоял тяжелый, специфический приказной запах: сырая известь каменных стен, застоявшийся чад восковых свечей, деготь от сапог караульных, кислый дух размокших сургучных печатей и едва уловимый, навсегда въевшийся в дубовые половицы железный запах запекшейся человеческой крови из глубоких подвальных покоев.

В просторной сводчатой палате за массивным дубовым столом, заваленным судными столбцами, тетрадями и чертежами, сидел сам князь-кесарь Фёдор Юрьевич Ромодановский.

Этот человек был подлинным полновластным владыкой Москвы в те долгие месяцы, когда молодой царь Пётр находился на верфях Воронежа, в заграничных посольствах или на азовских рубежах. На Ромодановском был тяжелый старинный боярский кафтан из золотисто-коричневого рытого бархата, подбитый драгоценными соболями, но на широком золо-

ченом поясе вместо традиционного боярского ножа висел короткий офицерский палаш с массивным медным эфесом на заморский лад. Лицо князя, широкое, с тяжелым волевым подбородком, крупным мясистым носом и густыми смоляными бровями, казалось высеченным из монолитного уральского гранита. Маленькие темные глаза смотрели цепко, безжалостно, пронизывая вошедшего насквозь и мгновенно взвешивая меру его правды и вины.

«Здравствуй, Корней», глухим, рокочущим басом произнес Ромодановский, не поднимая головы от раскрытой книги приходных таможенных пошлин. «Говори прямо, что стряслось на Неглинной. Да без лишнего кружева, руби в лоб. Правда ли, что мастера фон Дорна кончили?».

«Правда, ваша светлость», Полуэктов отвесил глубокий поясной поклон, встал прямо и четко, без малейшей запинки изложил все увиденное в литейной палате Пушечного двора.

Он подробно рассказал о мертвом мастере в железном кресле, о трех выжженных треугольником язвах на груди, о полновесном серебряном иоахимсталере, зажатом в зубах мертвеца, о пропавшей полуторапудовой бронзовой матрице секретной нарезной мортиры и об исчезнувших голландских циркулях с верньерной шкалой. Особо Корней подчеркнул следы на крыше соседнего соляного амбара Посольского двора, сметенный помелом снег, следы четырехзубых железных кошек и распахнутый створ дымника.

Когда он закончил свой обстоятельный доклад и положил на край судейского стола роговой пенал с обугленным клочком пергамента и колышек с фитилем, в палате повисла такая тяжелая тишина, что стало отчетливо слышно, как за толстым стеклом окна завывает разгулявшаяся метель.

Ромодановский медленно поднял тяжелую руку, унизанную массивными золотыми перстнями с темными яхонтами, взял роговой пенал, вытряхнул на ладонь пергаментный треугольник и поднес его к самым глазам. Густые смоляные брови князя сошлись к переносице:

«Литорея», процедил он сквозь зубы. «Да не простая приказная цыфирь, а черная, тайная, посольская. Такой грамотой во времена царевны Софьи ее любимец князь Васька Голицын с польскими ксендзами и венскими послами списывался. Откуда ей взяться в тигле на Пушечном дворе?».

«Думаю, ваша светлость, ее в печи жгли второпях», ответил Полуэктов. «Мастер сам сжигал или тот, кто к нему сверху через дымник спустился. В печи еще серный дух стоит и следы крепкой водки. А на песчаном полу у верстака я нашел каплю зеленого сургуча, каким только амстердамские купцы на Кукуе письма запечатывают».

Князь-кесарь тяжело поднялся из-за стола. Роста он был исполинского, широк в могучих плечах, и тень от его грузной фигуры легла на бревенчатую стену, заслонив медный образ Спаса Нерукотворного:

«Ты понимаешь ли, Корней, что значит пропажа этой матрицы?», тихо, почти зловеще спросил Ромодановский, подойдя к Полуэктову вплотную. От князя пахло крепким табаком и можжевеловой настойкой. «Государь Пётр Алексеевич не просто так в Воронеже плотников дубьем бьет на верфях. В тайных шатрах на польской границе наш посол князь Долгорукий с королем Августом договор дописывает. По весне или к осени грянет великая война со свеями за Балтийское море. Король Карл шведский думает, что у нас одни дедовские пищали да колокольный лом, а государь задумал выставить против их каменных крепостей легкие мортиры с винтовой нарезкой. Они бьют чугунными бомбами на полторы версты без малейшего промаха. Матрицу эту фон Дорн полгода в тайне доводил, сам чертежи чертил, сам медь мешал. Если этот секрет уйдет в Стокгольм к их резиденту Томасу Книперкроне, вся наша балтийская затея прахом пойдет еще до первого боевого выстрела!».

Князь с яростной силой ударил кулаком по дубовой доске стола так, что медные чернильницы подпрыгнули:

«А если это наши кремлевские бояре смуту плетут, если патриаршие дьяки с недобитыми стрельцами за спиной государя медь воруют да бунт готовят, я им кишки на шею намотаю!

Срок тебе даю, Корней, ровно три недели. Двадцатого декабря государь со свитой из Воронежа выезжает, к Рождеству будет в Кремле. Если к его приезду матрица не ляжет на этот стол, а убийцы не повиснут на Красной площади, я с тебя первого шкуру спущу. Ты в Зандаме голландскую цифирь учил, чертежи морские чертил, вот и покажи свою заморскую науку на московском деле».

«Сделаю, ваша светлость», спокойно, не дрогнув взглядом, ответил Полуэктов. «Но одному мне не управиться. На Пушечном дворе думный дьяк Лутохин волком смотрит, на Кукуе немецкие купцы от каждого приказного нос воротят, а стрельцы и вовсе за сабли хватаются. Мне нужен надежный человек из новых регулярных полков, кто пушечное дело знает и силой не обижен».

Ромодановский усмехнулся в бороду, словно заранее ждал этой просьбы. Он повернулся к кованой двери, ведущей во внутренние покои съезжей избы, и зычно крикнул:

«Гурьев! А ну, поди сюда!».

Дверь отворилась, и в палату твердым, чеканным строевым шагом вошел широкоплечий богатырь в зеленом суконном колете бомбардирской роты Преображенского полка. На вид ему было около тридцати лет. Лицо его было бы открытым и правильным, если бы не страшный лиловый рубец, тянувшийся от правого виска через всю щеку до самой шеи - память о турецком пороховом взрыве при штурме Азова. На широком кожаном поясе висела тяжелая офицерская шпага и пара кремневых пистолетов в медной оправе.

«Капрал-бомбардир Елизар Гурьев по вашему приказу прибыл!», зычно отрапортовал он, вытягиваясь в струнку перед правителем.

«Вот тебе надежный напарник, Корней», сказал князь-кесарь. «Елизар под Азовом турецкие бастионы из мортир с закрытых позиций жег, в порохе и пушечной бронзе толк знает лучше любого дьяка. А пуще того, стреляет без промаха и за государя жизнь положит не раздумывая. Отныне ты, Елизар, состоишь при подьячем Полуэктове. Береги его пуще глаза. Если кто на него руку поднимет, руби на куски без суда. Моим именем повелеваю: во всякий приказ, во всякий монастырь и во всякий немецкий дом входить днем и ночью, людей допрашивать, книги проверять, печати срывать. Вот вам открытый лист за моей красной кесарской печатью».

Князь бросил на стол лист плотной гербовой бумаги с широкой сургучной печатью в жестяном ковчежце.

«И первое неотложное дело», добавил Ромодановский, понизив голос, «тело мастера фон Дорна сегодня же в сумерках тайно перевезти в Аптекарский приказ к Ильинским воротам. Там его ждет доктор Андреас Хартман. Пусть анатом вскроет старика и скажет мне чистую правду: от чего он помер, от огня ли, от ножа или от тайного зелья. Ни единая живая душа на Москве не должна знать, что мастер мертв. Для всех объявите, что немец занемог горячкой и заперся в палате на карантин».

Полуэктов и Гурьев поклонились. Выйдя на высокое крыльцо съезжей избы, Корней остановился и посмотрел на своего нового спутника. Метель кружила над двором, бросая белые хлопья на зеленый колет бомбардира.

«Ну что, подьячий», с легкой усмешкой, кривя рассеченную щеку, произнес Елизар, оглядывая Корнея с головы до ног. «Слыхал я про тебя. Говорят, ты за морем чертежи чертил да с иноземными мудрецами за руку здоровался. Только Москва, брат, не Амстердам. Здесь за правду не червонцы платят, а свинцом в затылок потчуют».

«Я в Москве родился, Елизар», спокойно ответил Полуэктов, затягивая пояс охабня. «И знаю, чем пахнет наша земля. Коня умеешь держать на льду?».

«Я под турецкими ядрами коней держал, когда берег Дона горел», отозвался бомбардир, и в его серых глазах блеснул холодный стальной огонек. «Куда путь держим?».

«Сначала в караульную избу к десятнику Косому, а оттуда к Ильинским воротам, к аптекарским склянкам доктора Хартмана. Нам нужно точно узнать, чьим ядом напоили старого мастера, прежде чем жечь его тело каленым железом».

Глава 4. Склянки Аптекарского приказа

Сумерки упали на Москву внезапно и тяжело, словно кто-то набросил на островерхие шатры Белого города толстый пласт серого непроницаемого войлока. Метель, разгулявшаяся к исходу короткого зимнего дня, стремительно заметала конские следы на Ильинке, глушила скрип крестьянских дровней и заставляла редких запоздалых посадских прохожих торопливо вжиматься в глухие дубовые заборы купеческих подворий. Под надежным покровом этой белой, завывающей круговерти крытая мерзлой рогожей широкая подвода, запряженная парой выносливых битюгов, тихо и неприметно выехала из чугунных ворот Пушечного двора на Неглинке. Ее сопровождали лишь двое верховых в надвинутых на самые брови лисьих капюшонах - подьячий тайных дел Корней Полуэктов и капрал-бомбардир Елизар Гурьев.

Окоченевшее тело пушечного мастера Фридриха фон Дорна, тщательно зашитое в двойную просмоленную рогожу и со всех сторон обложенное прозрачными кусками речного льда, вырубленного в полыньях Неглинки, доставили к массивным каменным палатам Аптекарского приказа у Ильинских ворот Китай-города без малейшего лишнего шума и огласки.

Аптекарский приказ в Первопрестольной столице испокон веков пользовался славой таинственной, ученой и для простого люда зловещей. Здесь, за коваными решетками в палец толщиной и глухими железными дверями на тройных хитрых запорах, хранились не только заморские целебные зелья, венецианские бальзамы, очищенные спирты, аравийская камедь и пряные сиропы из апельсинных корок для царской трапезы, но и страшные яды, привозимые под строжайшим приказным надзором для нужд Посольского приказа и государевой тайной канцелярии. Простые москвичи обходили эти высокие палаты дальней стороной, истово крестясь и шепча молитвы от сглаза и чернокнижия: в народе упорно держался темный слух, что заморские лекари анатомируют в подвалах тела казненных бунтовщиков, дабы добывать целебную мумию и варить приворотные мази для немецких офицеров.

В глубоких сводчатых подвалах приказа, куда вели двадцать крутых каменных ступеней, пахло сыростью известняка, едким винным спиртом, терпентином, сушеной перечной мятой, камфорой, мускусом и тем особенным, леденящим душу запахом человеческого тлена, который не способен заглушить ни один восточный аптечный бальзам.

Доктор медицины Андреас Хартман встретил дознавателей в полукруглом анатомическом покое, освещенном десятком масляных ламп на высоких латунных штативах. Это был худощавый, педантичный человек лет пятидесяти пяти с гладко выбритым, словно из слоновой кости точеным лицом, в бархатном любекском берете и длинном холщовом фартуке с кожаными завязками, надетом прямо поверх темно-зеленого суконного камзола. Вдоль оштукатуренных белой известью каменных стен тянулись дубовые полки, уставленные сотнями стеклянных реторт, колб, хрустальных банок с заспиртованными анатомическими препаратами и ряды медных ступок с тяжелыми стальными пестиками.

«Заприте железные засовы изнутри, господа», на чистом, хотя и чуть жестковатом русском языке произнес Хартман, тщательно вытирая длинные, сухие пальцы белым льняным полотенцем. «Князь-кесарь Фёдор Юрьевич прислал своего нарочного еще в полдень. Мне велено сотворить свидетельство в совершенной тайне от патриарших властей. Если святые отцы в Кремле проведают, что мы вскрываем тело покойного железом ради анатомических изысканий, мне придется держать ответ перед духовным собором за ересь».

«Фридрих фон Дорн был лютеранином, господин доктор», ровно заметил Полуэктов, сбрасывая заснеженный охабень на широкую лаву у стены. «А великий государь Пётр Алексеевич лично утвердил анатомические штудии в Санкт-Амстердаме и Москве ради пользы военной хирургии и познания законов естества. Вот открытый лист князя Ромодановского с большой приказной печатью».

Хартман бегло оглядел сургучную печать, молча кивнул и жестом велел Гурьеву переложить окоченевшее, обледенелое тело старого мастера на широкий каменный стол, обитый свинцовыми листами. С желобов стола в медный таз у пола медленно и ритмично стекала талая вода.

Первым делом доктор склонился над лицом погибшего. При ярком свете двух ламп черты старика казались высеченными из желтого церковного воска. Хартман взял тонкие серебряные анатомические щипцы и осторожно, вершок за вершком, разжал окостеневшие челюсти мастера.

Тяжелый серебряный кругляк с глухим звоном упал на чистое фарфоровое блюдце.

«Поглядите внимательно сюда, Корней Никитич», тихо произнес Хартман, указывая кончиком стального зонда на десны и слизистую оболочку рта немца. «На губах нет ни малейшей ссадины, зубы целы, язык не прикушен в агонии. Это непреложно свидетельствует о том, что монету вложили в рот не силой, когда человек яростно отбивался и боролся за жизнь, а уже тогда, когда нижняя челюсть безвольно отвисла в предсмертном расслаблении, либо в первые минуты после кончины».

Полуэктов взял монету пинцетом и поднес к глазу свою голландскую шлифованную лупу. Тяжелый серебряный иоахимсталер бранденбургской чеканки с погрудным портретом курфюрста был безупречно чист, но на самом боковом гурте, возле литеры D, виднелся крохотный, почти незаметный оттиск пуансона: два перекрещенных пушечных ствола под короной.

«Что это за штемпель, Елизар?», спросил Полуэктов, протягивая монету бомбардиру.

Гурьев прищурил здоровый глаз, поднес серебро к самому пламени свечи и нахмурился:

«Это клеймо тульских казенных кузнецов или самого Пушкарского приказа. Таким малым штемпелем наши браковщики клеймят заморское серебро, когда принимают монету в переплавку на жалованье литейщикам. Значит, этот талер лежал не в простом купеческом кошельке, а в казенном сундуке Пушкарской избы у дьяка Лутохина!».

«Запомним это крепко», кивнул Корней. «Продолжайте, доктор».

Хартман взял острый стальной ланцет и сделал первый глубокий разрез вдоль грудины. Руки анатома двигались с невероятной уверенностью и быстротой, отточенной годами сложнейшей практики в Лейденском университете. Гурьев, повидавший на войне сотни распоротых животов и оторванных картечью конечностей, лишь крякнул и крепче сжал рукояти светильников, а Полуэктов достал свой блокнот и приготовился записывать.

«Смотрите внимательно на легкие и дыхательное горло», произнес Хартман, осторожно отводя края рассеченных реберных хрящей. «В трахее нет ни малейшей копоти или сажи. Стенки гортани совершенно белые и чистые. Если бы несчастный мастер находился в сознании или хотя бы слабо дышал, когда вокруг него полыхал огонь или когда его жгли раскаленным железом, он неизбежно вдохнул бы печной чад и горячую угольную пыль. Но легкие его чисты, как у спящего младенца. Он не сделал ни единого вздоха в этой литейной яме».

«А ожоги на груди?», спросил Корней, указывая на три черных треугольных пятна.

«Они нанесены посмертно», отрезал доктор, прикладывая к обугленному краю влажную льняную салфетку. «Видите? Вокруг струпа нет воспалительного валика, нет покраснения, нет волдырей с серозной жидкостью, какие всегда возникают на живой коже за считанные секунды. Каленое железо приложили к телу, когда сердце фон Дорна уже не билось по меньшей мере полтора или два часа. Кто-то очень старался сотворить видимость мучительной казни или тайного судилища раскольников, но это всего лишь грубый маскарад».

«От чего же наступила смерть?», нахмурился Гурьев. «Ножевых ран нет, шея цела, голова не пробита обухом. Неужто сердце от старости разорвалось?».

«Сердце старика было крепким, словно дубовая колода», Хартман извлек внутренние органы и опустил их в стеклянную чашу с прозрачным раствором. «Но поглядите на зрачки: они расширены до предела, радужка почти не видна. А теперь взгляните на желудок».

Доктор осторожно вскрыл орган тонким скальпелем. В воздухе мгновенно распространился тяжелый, одуряющий дух, напоминающий запах горького миндаля, мышиного помета и прелой болотной травы. На дно чаши вылилась густая бурая жижа, в которой плавали непереваренные волокна каких-то корешков.

Хартман зачерпнул стеклянной палочкой каплю жидкости, перенес ее на полоску бумаги, пропитанную лакмусовой настойкой, и поднес чашу к носу:

«Ошибки быть не может. Это концентрированная вытяжка из семян белены черной, смешанная с соком веха ядовитого, того самого водяного болиголова, от которого когда-то погиб древний мудрец Сократ. Смертоносная смесь. Белена мгновенно парализует зрение и разум, вызывает судороги и оцепенение, а вех останавливает дыхание через четверть часа. Мастер сделал всего два или три глотка, после чего рухнул без памяти. Его отравили за вечерней трапезой или поднесли яд в сбитне».

Полуэктов вспомнил слова сторожа Терентия о вечернем кувшине:

«Доктор, скажите прямо: можно ли такое зелье сварить на простой поварне или купить у бабок-травниц в Охотном ряду?».

Хартман покачал головой и усмехнулся с горькой иронией:

«У бабок можно купить сушеную полынь от глистов или заговор от дурного глаза. Но чтобы приготовить столь чистую и концентрированную алкалоидную вытяжку, которая не оставляет осадка в бокале и действует безотказно, требуются стеклянный перегонный куб, серный эфир и знание заморской фармакопеи. В Москве такой перегонный аппарат есть только здесь, в казенном Аптекарском приказе... либо в тайных лабораториях Немецкой слободы на Кукуе».

«На Кукуе?», переспросил Полуэктов, и глаза его сузились. «У кого именно?».

«В слободе многие иноземцы балуются химией», задумчиво ответил лекарь, снимая фартук и тщательно смывая сулемовым спиртом следы с пальцев. «Но две недели назад из Архангельска с последним санным обозом прибыл груз для голландского фактора Даниэля Схельтемы. Там были аптекарские склянки, тонкие трубки венецианского стекла и два дубовых бочонка с очищенным винным спиртом и редкими минеральными солями. Схельтема хвастался на слободской ассамблее, что привез секретные составы для травления металлов и очистки серебра».

«Травление металлов», повторил Полуэктов, вспомнив запах кислоты от печной золы и гравированные круги на пергаменте. «А ведь Схельтема поставляет на Пушечный двор свинец и полосовую медь!».

«Он самый», кивнул доктор. «А еще, Корней Никитич, примите к сведению одну деталь, о которой в приказах вслух не говорят. У покойного фон Дорна на шее всегда висел золотой медальон с портретом женщины. Это была его покойная русская жена, Марфа Воронова. Ее родня живет на Кулишках, у Покровских ворот. У них осталась дочь, Евдокия. Старик души в ней не чаял и все свое нажитое серебро втайне переправлял ей, боясь, что казна после его смерти отберет имущество в пользу государя. Если кто и знал о тайных бумагах мастера, так это она».

Полуэктов переглянулся с Гурьевым. В деле намечался четкий и грозный след: казенное серебро Пушкарского приказа, яд из заморской слободы и тайная семья на Кулишках.

«Благодарю вас, доктор Хартман», Корней спрятал блокнот в сумку. «Составьте подробное свидетельство на латыни и на русском для тайной канцелярии князя-кесаря. Тело держите в леднике под караулом моих преображенцев. До поры до времени фон Дорн для всего мира тяжело болен».

Когда они вышли на обледенелое крыльцо Аптекарского приказа, метель уже улеглась, уступив место лютому, сухому морозу. Звезды над Кремлем сияли острыми, безжалостными иглами, предвещая стужу под тридцать градусов.

«Куда теперь, подьячий?», спросил Елизар, поправляя перевязь с пистолетами. «На Кукуй к голландцу или на Кулишки к дочке?».

«Сначала на Кукуй, к Даниэлю Схельтеме», твердо ответил Полуэктов, вскакивая в седло. «Купцы из Немецкой слободы народ пугливый, спят чутко, а весть о беде на Пушечном дворе разносится быстрее степного пожара. Посмотрим, чем пахнут его заморские склянки и за какие грехи он берет талеры с клеймом Пушкарского приказа».

Глава 5. Немецкая слобода

Переезд через замерзшую Яузу по скрипучему деревянному мосту словно в одно мгновение переносил ночных всадников из старой, пропахшей ладаном, печной сажей, сырыми тулупами и конским навозом бревенчатой Московии в совершенно иной, заморский европейский мир. Немецкая слобода, прозванная в простонародье Кукуем, жила по своим особым, неслыханным для православного люда порядкам, нравам и уставам. Здесь широкие прямые улицы были вычерчены словно по линейке голландского чертежника, вымощены крупным круглым речным булыжником и обсажены ровными рядами молодых лип в деревянных решетчатых кадках. Вместо высоких глухих бревенчатых заборов и частоколов дома зажиточных бюргеров стояли открыто, выставляя напоказ аккуратные палисадники с заснеженными кустами шиповника, подстриженным боярышником и коваными чугунными оградками на каменных цоколях.

Островерхие черепичные кровли кирпичных домов в два и три этажа с высокими ступенчатыми щипцами уходили в морозное звездное небо, живо напоминая чинные бюргерские кварталы Гамбурга, Бремена, Лейдена или Амстердама. Над входными дубовыми дверями покачивались на кованых цепях литые медные и резные деревянные вывески ремесленных цехов: начищенный сапог с золоченой пряжкой, аптекарская ступка с пестиком и змеей, латунный навигационный циркуль или дубовая просмоленная кадушка с пенным элем. На перекрестках тускло светили застекленные шестигранные фонари на дубовых столбах, в которых медленно тлело чистое конопляное масло. Из ярко освещенных окон каменного двухэтажного трактира У золотого оленя доносились нежные, серебристые звуки клавесина, скрипичные рулады и веселый, раскатистый смех офицеров полков иноземного строя в фетровых треуголках, куривших длинные белые глиняные трубки и пивших гжацкое хмельное пиво вперемежку со старым золотистым рейнвейном.

В морозном воздухе слободы стоял непривычный и волнующий для русского обоняния букет запахов: пахло не дегтем, гарью и овчиной, а крепким виргинским листовым табаком, свежеобжаренными кофейными зернами, корицей, мускатным орехом, гвоздичным хлебом, соленым голландским сыром и свежим каретным лаком.

Богатый особняк купца Даниэля Схельтемы стоял на главной Немецкой улице, неподалеку от каменной лютеранской кирхи Святого Михаила. Это был массивный двухэтажный дом, выстроенный на голландский манер из темно-красного кирпича с высоким ступенчатым щипцом, ажурным чугунным крыльцом и широкими окнами со свинцовыми переплетами, в которые были вставлены чистые венецианские зеркальные стекла, сиявшие в лунном свете мягким зеленоватым отливом.

Когда Полуэктов и Гурьев взбежали по обледенелым чугунным ступеням и громко застучали тяжелым медным молотком в виде оскаленной львиной морды, кованую дубовую дверь отворил рослый швейцар в синем ливрейном кафтане с серебряным позументом. Увидев заснеженного приказного подьячего в охабне и широкоплечего бомбардира со страшным лиловым рубцом через все лицо, слуга испуганно попытался захлопнуть створку, но Гурьев привычным солдатским движением вбил кованый носок сапога в щель и с силой толкнул дверь могучим плечом.

«Не балуй, немчин», громовым голосом рявкнул Елизар, демонстративно выставляя вперед граненую рукоять пистолета. «Подьячий тайных дел от самого великого князя-кесаря Ромодановского прибыл с государевым листом. Зови хозяина немедля, покуда мы тебе ребра солдатским прикладом не пересчитали».

Швейцар мгновенно побледнел, залопотал что-то на нижненемецком наречии и, путаясь в полах длинной ливреи, поспешил вверх по полированной дубовой лестнице.

Через две минуты дознаватели уже стояли в просторной конторе Схельтемы на втором этаже. Здесь было жарко натоплено: голландская изразцовая печь, расписанная синими кобальтовыми ветряными мельницами, тюльпанами и трехмачтовыми галеонами, дышала мягким, сухим и смолистым теплом. На широком узорном персидском ковре стоял тяжелый стол красного дерева, сплошь заваленный толстыми гроссбухами в свиной коже, образцами уральских медных руд, слитками металлов, склянками с реактивами и морскими навигационными картами Белого и Балтийского морей. В глубоком кожаном кресле с высокой бархатной спинкой сидел сам хозяин дома.

Даниэль Схельтема был тучным, холеным мужчиной лет пятидесяти в пышном завитом каштановом парике, тончайшей батистовой сорочке с кружевным фламандским жабо и темно-зеленом бархатном камзоле с чеканными серебряными пуговицами. В зубах он небрежно держал длинную белую глиняную трубку гаудской работы, выпуская под сводчатый потолок правильные кольца сизого ароматного дыма. Увидев ночных гостей, купец брезгливо нахмурился, положил трубку на фарфоровый поднос и заговорил на ломаном русском языке с сильным прибалтийским акцентом:

«Что за дикое варварство и буйство в моем благородном доме среди ночи? Я есть вольный купец Высоких Генеральных Штатов под прямой защитой жалованных грамот и привилегий его царского величества! Я буду немедленно подавать слезную жалобу господину генералу Лефорту и в Посольский приказ на сие насилие!».

Корней неторопливо шагнул вперед, сбросил с плеч капюшон суконного охабня и, усмехнувшись одними тонкими уголками губ, заговорил на чистейшем заандамском диалекте нидерландского языка:

«Господин генерал Лефорт покоится в сырой могиле уже более полугода, милейший господин Схельтема. А Посольский приказ нынче ночью подчинен непреклонной воле князя-кесаря Ромодановского. Так что оставьте ваши запоздалые жалобы для бюргеров Амстердама и слушайте внимательно каждое мое слово, если не хотите к утренней заре оказаться в кандалах в сыром каменном мешке Преображенского застенка».

Схельтема от неожиданности выронил трубку из разжавшихся пальцев. Тонкая белая глина со звонким треском раскололась о край стола, рассыпав по персидскому ковру серый горячий пепел. Водянистые глаза голландца округлились от изумления, он вскочил с кресла, судорожно поправляя сбившийся набок напудренный парик:

«Вы... вы говорите на моем родном языке без малейшей ошибки? Откуда? Кто вы такой, черт побери?!».

«Корней Полуэктов, государев розыскной подьячий», Корней подошел к столу и с тяжелым стуком опустил на раскрытый гроссбух открытый лист с большой сургучной кесарской печатью. «Я строил шлюпы на верфях мастера Калфа в Зандаме и слушал лекции по анатомии профессора Рюйша в Амстердаме, пока вы здесь наживали тысячи золотых ефимков на царских поставках. И сегодня ночью меня до чрезвычайности интересуют ваши тайные торговые сношения со старым пушечным мастером Фридрихом фон Дорном».

При звуке имени фон Дорна круглое лицо голландского купца заметно осунулось и покрылось нездоровой бледностью. Он нервно сглотнул слюну, бросил вороватый взгляд на тяжелый кованый железный сундук в углу комнаты и попытался напустить на себя вид беспечного бюргерского недоумения:

«Фриц фон Дорн? Старый упрямый чудак с Пушечного двора на Неглинной? Мы имели с ним самые обыкновенные коммерческие отношения. Я исправно поставлял ему шведскую полосовую медь с рудников Фалуна, корнуоллское белое олово и английский свинец для отливки полковых пушек. Что с ним стряслось? Он опять по своей вине перекалил плавильную печь?».

«Он мертв, Схельтема», холодно и раздельно произнес Полуэктов, в упор сверля водянистые зрачки купца. «Его хладнокровно отравили смесью концентрированной белены и веха ядовитого. Той самой редкой чистейшей вытяжкой, которую вы две недели назад получили через Архангельскую морскую таможню под видом аптекарских минеральных солей».

Голландец покачнулся, словно от сильного удара кулаком, и тяжело опустился обратно в глубокое кресло, судорожно хватая ртом воздух. Его пухлые белые пальцы с золотыми перстнями задрожали мелкой дрожью:

«Боже милосердный... Мертв? Фриц подло убит? Клянусь Всемогущим Создателем и честью купеческой гильдии Амстердама, я не имею никакого отношения к его гибели! Да, я действительно получал аптекарские склянки из Голландии через Архангельск, но это был официальный заказ для казенного Аптекарского приказа! У меня есть подлинная расписка и таможенные накладные!».

«Накладные мы непременно сверим в Посольском приказе», вмешался Гурьев, делая шаг вперед и со звоном опуская пудовую кулачищу на край стола. «А ты вот на это погляди своими бесстыжими глазами, иноземец».

Бомбардир вынул из глубокого кармана тяжелый серебряный талер со срубленными краями и свежим клеймом в виде скрещенных пушечных стволов и с металлическим звоном бросил его прямо перед носом онемевшего купца. Схельтема вздрогнул всем телом, словно увидел перед собой гремучую змею:

«Откуда... откуда сие у вас?».

«Эту фальшивую монету вынули изо рта мертвого мастера», ответил Полуэктов. «Ее туда вложил убийца. А на песчаном полу у верстака фон Дорна я нашел каплю вот этого самого редкого сургуча».

Корней указал острием ножа на бронзовую спиртовку, стоявшую на краю конторского стола голландца. В резном лоточке рядом со спиртовкой аккуратными рядами лежали палочки редкого, темно-зеленого сургуча с характерным терпентиновым хвойным запахом. Точно такого же состава, какой был обнаружен на месте гибели мастера на Пушечном дворе.

Схельтема закрыл лицо обеими руками и тяжело, прерывисто застонал:

«Я пропал... Меня предали и подставили эти дьяволы во плоти. Послушайте, господин Полуэктов, я расскажу вам всю чистую правду, как на духу перед Создателем. Три дня назад старик Фриц фон Дорн приходил ко мне сам в этот покой. Он был в страшном гневе, кричал, стучал кулаками по этому самому дубовому столу так, что чернила расплескивались. Он принес с собой кусок оплавленного медного шлака от новой опытной плавки. Он заявил мне, что в медь, которую ему присылают из Пушкарского приказа, кто-то намеренно подмешивает саксонский висмут и серный колчедан. Висмут делает бронзу хрупкой, как перекаленное стекло! Стволы таких пушек при первом же боевом выстреле разлетаются на мелкие куски и выкашивают собственную артиллерийскую прислугу!».

Полуэктов выразительно переглянулся с Гурьевым. В глазах бывалого бомбардира вспыхнул яростный, беспощадный огонь:

«Диверсия... Прямая измена в самом Пушкарском приказе!».

«Да!», торопливо и часто закивал голландец, утирая мокрый от холодного пота лоб батистовым платком. «Фридрих прямо сказал, что думный дьяк Гаврила Лутохин ворует сортовую сибирскую медь пудами, заменяя ее дешевым бракованным металлом с добавлением висмута, а разницу в весе прячет в свой карман. Дорн грозился подать челобитную лично государю Петру Алексеевичу в первый же день его возвращения из Воронежа! Он сказал, что остановил отливку опытных орудий и сокрушил готовую форму кувалдой, чтобы бракованные пушки ни за что не попали в действующее войско!».

«А чертежи?», быстро спросил Корней. «Где чертежи нарезной мортиры и секретные таблицы пропорций?».

«Он никогда не держал их на Пушечном дворе», прошептал Схельтема, с опаской озираясь по сторонам. «Он никому не доверял в приказе, кругом чуял измену и предательство. Он сказал мне тогда: если со мной случится беда, вся правда о похищенной меди и все мои расчеты спрятаны у Евдокии на Кулишках. У нее хранится ключ от тайного дневника. А про зеленый сургуч... господин подьячий, клянусь, зеленый сургуч у меня брал неделю назад мастер точной механики Христофор Крюгер! Он заказывал у меня шлифованные оптические линзы и латунные пластины!».

«Крюгер? Замочный мастер из Немецкой слободы?», уточнил Полуэктов.

«Да, его мастерская находится у Немецкого рынка, возле слободских кузниц. Он режет штемпели для гербовых печатей и чинит заморские часы».

В этот самый момент за тяжелыми бархатными шторами высокого венецианского окна послышался глухой хруст замерзшего наста. Гурьев среагировал мгновенно: одним прыжком он оказался у окна, рванул в сторону тяжелую портьеру и с силой распахнул дубовую раму. В теплую комнату ворвался свирепый ледяной вихрь со снегом.

Внизу, в освещенном уличным конопляным фонарем узком переулке, мелькнула рослая темная фигура в длинном стрелецком овчинном кафтане с опущенными ушами шапки. Неизвестный ловко перемахнул через деревянную изгородь палисадника и со всех ног бросился наутек в сторону темных Яузских огородов.

«Стой, стрелять буду!», крикнул Гурьев, вскидывая пистолет. Но силуэт лазутчика уже бесследно растворился в белой круговерти ночной метели.

Елизар с досадой захлопнул створку окна и сплюнул на ковер:

«Следили за нами, пес их побери! Стрелецкие лазутчики кругом слободы рыщут!».

Полуэктов повернулся к трясущемуся голландскому купцу:

«Ты, Схельтема, из этого дома ни ногой. У парадного крыльца и у черного хода я ставлю четверых преображенских гренадеров с заряженными фузеями. Если попытаешься бежать или передать записку сообщникам, пеняй на себя: князь-кесарь Ромодановский прикажет вздернуть тебя на воротах слободы без всякого суда. А книги твои приказные мы опечатаем наглухо».

Корней быстро и аккуратно приложил личную кесарскую печать на красный сургуч поверх шелковой шнуровки гроссбухов купца.

«Идем, Елизар», сказал Корней, решительно запахивая тяжелый охабень. «Время не ждет ни секунды. Если за нами следили, то убийцы фон Дорна уже знают про Кулишки. Нам необходимо добраться до Евдокии раньше, чем воровские люди навестят ее терем».

Глава 6. Терем на Кулишках

Ночь перевалила далеко за полночь, когда широкие кованые сани Полуэктова и Гурьева с глухим скрипом полозьев свернули с широкой Покровской дороги в глухие, кривые и узкие переулки старинного урочища Кулишки. Вечерняя метель окончательно утихла, и над заснувшей под глубокими сугробами Москвой встал прозрачный, хрустальный и трескучий мороз. Воздух звенел от стужи, тяжелые сосновые полозья пронзительно взвизгивали на укатанном насте, а в черном бархате бездонного неба ослепительно мерцали крупные, колючие созвездия Ориона, Кассиопеи и Большой Медведицы.

Здесь, вдали от шумных торговых рядов Китай-города, кремлевских приказов и веселых трактиров Немецкой слободы, Первопрестольная столица казалась совершенно древней, патриархальной, затаившейся в вековых сугробах. За высокими глухими частоколами из мореного дуба спали старинные боярские и дворянские усадьбы, над шатровыми теремами тонкой струйкой курился белый березовый дымок, в морозном воздухе пахло мерзлой калиной, банным паром, березовыми вениками и моченными антоновскими яблоками, и лишь редкий ленивый лай сторожевых волкодавов нарушал торжественную тишину ночного посада.

Усадьба купеческой вдовы Евдокии Андреевны Вороновой стояла в самом тупике переулка, упиравшегося в заснеженный вишневый сад при приходской церкви Троицы на Грязех. Это было крепкое старинное родовое гнездо: высокий двухэтажный деревянный терем из векового смолистого соснового кругляка, поставленный на высокий белокаменный подклет с глубокими погребами и ледниками, с резными узорными наличниками на окнах, затянутых слюдяными пластинами в частый свинцовый переплет.

Гурьев соскочил с облучка, поднялся по обледенелым ступеням высокого крыльца и трижды тяжело ударил кованой рукоятью сабли в массивную дубовую дверь, обитую полосовым железом с фигурными шляпками гвоздей.

Некоторое время за дверью стояла глухая, тревожная и настороженная тишина. Затем в толще дубового бруса неслышно отодвинулась узкая смотровая щеколда, и в желтом свете масляного светильника показались внимательные, строгие женские глаза. В узкую щель хищно блеснуло граненое вороненое дуло короткого колесцового пистолета искусной голландской работы.

«Кто в столь неурочный час будит вдовий дом?», раздался негромкий, но поразительно твердый, чистый девичий голос без малейшей тени бабьего испуга или растерянности. «Если лихие воровские люди, так знайте: в подклете заряжены два самопала, а дворовые люди уже на ногах с топорами и бердышами».

«Не бойся, Евдокия Андреевна», сделал шаг вперед Полуэктов, стягивая капюшон суконного охабня и подставляя лицо слабому свету из смотровой щели. «Я подьячий тайных дел Корней Полуэктов. Прибыл к тебе не со злом, не по доносу и не ради казенного правежа, а по сокровенному наказу твоего отца, пушечного мастера Фридриха фон Дорна».

При звуке имени отца рука с пистолетом за дверью едва заметно дрогнула. Щеколда со стуком захлопнулась, за дубовой створкой загремели тяжелые железные цепи, со скрипом отодвинулся дубовый брус засова, и массивная дверь медленно отворилась внутрь дома.

На пороге просторных сеней стояла молодая женщина лет двадцати пяти. На ней был темно-синий суконный летник с узкими рукавами, отороченный простым заячьим мехом, и скромный темный плат, повязанный по купеческому обычаю под подбородком. Но лицо ее вовсе не походило на лица покорных теремных затворниц: правильные благородные черты, прямой нос с тонкой аристократической горбинкой, высокий чистый лоб и удивительно глубокие серые глаза, смотревшие на ночных гостей с неженской прямотой, мужеством и проница-

тельностью. В левой руке она держала медный шандал с горящей восковой свечой, а в правой - взведенный пистолет.

«Проходите в сени, гости ночные», тихо произнесла она, отступая на шаг и указывая на резную лестницу в верхние покои. «Но если вы лукавите и замышляете дурное, именем Всемогущего Спасителя клянусь, выстрелю без раздумий прямо в грудь».

«Опусти пистоль, красавица», усмехнулся Гурьев, переступая порог и стряхивая снег с рукавиц на плетеный половик. «Я таких заморских штучек под Азовом сотнями видал. Мы пришли о великом государственном деле говорить, да о таком, от которого кровь в жилах стынет».

Евдокия ввела их в верхнюю горницу. Здесь было сухо, просторно, чисто и жарко натоплено. Круглая изразцовая печь с зелеными поливными кафлями, изображавшими райских птиц Сирин и Алконост, наполняла комнату ароматом горящих сухих березовых поленьев. Но обстановка горницы поразила Полуэктова до глубины души: вместо привычных для богатого купеческого терема прялок, сундуков с холстами приданого и кованых ларцов вдоль гладких стен тянулись дубовые полки с десятками книг в кожаных переплетах. На широком липовом столе стояли аптекарские ювелирные весы с латунными чашечками, пучки сушеных целебных трав - зверобоя, мяты, полыни, горицвета, а рядом лежали чистые листы александрийской бумаги, исписанные мелким изящным полууставом и латинскими ботаническими и химическими формулами.

«Ты читаешь по-латыни?», не удержался от искреннего изумления Полуэктов, разглядывая раскрытый фолиант швейцарского естествоиспытателя Конрада Геснера.

«Отец учил меня грамоте, математике и латыни с семи лет», спокойно ответила Евдокия, ставя свечу на стол и плавно опуская курок пистолета на предохранительный взвод. «Он говорил, что разум человеческий есть величайший дар Господень и запирать девицу в тереме без книг и наук - тяжкий грех перед Творцом. Моя мать была русской дворянкой из старинного рода Вороновых, но отец передал мне свой любекский порядок, честность и любовь к точным наукам. Садитесь к огню, господа. И скажите мне прямо, без прикрас: что случилось с отцом? Почему он сам не приехал в мой терем, как обещал в четверг?».

Корней снял шапку, опустил глаза и произнес со всей сердечной мягкостью, на какую был способен:

«Фридриха Ивановича больше нет в живых, Евдокия Андреевна. Позавчера на рассвете его нашли мертвым в литейной палате Пушечного двора».

Девушка замерла на месте, словно пораженная громом. Лицо ее мгновенно побелело, сделавшись похожим на чистый снег за окном, тонкие пальцы судорожно и крепко впились в край столешницы, но из ее глаз не скатилось ни единой слезинки. Лишь глубокий, прерывистый судорожный вдох вырвался из груди, выдавая страшную, невыносимую внутреннюю боль утраты.

«Они сделали это...», едва слышно прошептала она, глядя в темный угол горницы, где теплилась серебряная лампада перед древним образом Казанской Богоматери. «Те злые волки из приказа... Отец предупреждал меня. Он три дня назад приходил сюда в сумерках, принес мне этот ларец и велел запереться на все дубовые засовы».

«Кто именно ему угрожал?», быстро спросил Полуэктов, придвигаясь ближе к столу.

«Думный дьяк Гаврила Лутохин», с горечью произнесла Евдокия. «И еще один человек... чернец в черном суконном клобуке, который называл себя отцом Никоном из Чудова монастыря. Отец открыл мне страшную государственную тайну. Государь велел ему отлить двенадцать легких винтовальных мортир для тайной армии. Медь на эти мортиры отпускалась из казенных запасов Пушкарского приказа чистейшая, колыванская и сибирская. Но дьяк Лутохин вместе с монастырскими старцами тайно подменял сортовую медь бракованным литьем, в которое подмешивали висмут и серный колчедан! Настоящую сибирскую медь пудами выво-

зили тайком на монастырские подворья и переплавляли в безликие слитки без клейма, чтобы продавать за море через Архангельск за золото!».

«Вот куда ушли шестьдесят два пуда меди, о которых кричал дьяк Лутохин!», воскликнул Гурьев, сжимая кулачищи так, что хрустнули костяшки пальцев. «Воровское семя! Царскую бронзу крадут, когда армия к войне готовится!».

«Отец узнал об этом, когда сделал первую опытную пробу металла», продолжала Евдокия, и голос ее задрожал от благородного гнева. «Бронза от висмута стала хрупкой, как стекло. Он пришел к Лутохину и бросил ему под ноги обломок треснувшего ствола. Он сказал, что напишет челобитную лично государю и выведет казнокрадов на чистую воду. Лутохин сначала предлагал ему тысячу золотых червонцев, сулил богатое имение под Москвой, а когда отец плюнул ему в лицо, стал грозить застенком и обвинением в чернокнижии. А отец Никон кричал, что немец льет антихристовы трубы и душу свою дьяволу продал».

«А где литейная матрица мортиры?», спросил Корней. «В литейной избе зажимы сломаны, матрицы нет».

«Отец сам разбил ее!», в серых глазах Евдокии блеснула гордость. «Он сказал мне тогда: ни одна моя пушка, отлитая из воровского отравленного металла, не должна убить русского солдата. Он разбил медную форму тяжелым кузнечным молотом на мелкие куски прямо в яме! А чертежи и расчеты винтовой нарезки спрятал в надежном месте. Вот здесь».

Она подошла к изразцовой печи, вынула из потайного тайника за отодвинувшейся изразцовой кафлей продолговатый ларец из кедрового дерева, окованный тонкой медью. Открыв крышку крохотным серебряным ключиком, она извлекла на свет медный диск с круговой гравировкой, разделенный на секторы с цифрами и греческими буквами, и узкий пергаментный свиток.

Полуэктов бережно принял диск в руки и затаил дыхание. Это было заморское цифирное колесо для расшифровки сложнейших криптограмм, устроенное по математическому принципу подвижных концентрических колец Раймунда Луллия.

«Это ключ к его тайному дневнику», тихо сказала Евдокия, глядя прямо в глаза Корнею. «Отец вел записи Черной литореей. Все имена воров, все даты поставок поддельной меди, все расписки Лутохина и Схельтемы записаны там. Сам дневник в кожаном переплете отец хранил в потайной нише под наковальней на Пушечном дворе. Вот железный ключик с двойной бородкой от этой ниши».

Она протянула Полуэктову небольшой кованый ключ, холодный от ночного воздуха. Корней бережно принял его, ощутив на мгновение теплоту ее тонких, сильных пальцев.

«Я клянусь памятью твоего отца, Евдокия Андреевна», торжественно произнес Полуэктов, «что найду тех, кто поднес ему яд, и тех, кто наживался на царской меди. Ни дьячий сан, ни монашеский клобук их не спасут от правосудия».

В этот самый момент Гурьев, стоявший у окна и осторожно приподнявший край тяжелой холщовой занавеси, резко присел:

«Корней, гляди! Во дворе подозрительное движение!».

Полуэктов подскочил к окну. В бледном свете месяца, заливавшем заснеженный вишневый сад, было отчетливо видно, как трое людей в темных овчинных тулупах крадутся вдоль яблонь к крыльцу усадьбы. В руках у двоих поблескивали длинные стрелецкие бердыши, а третий держал в руке моток смоляного каната.

«Выследили, черти полосатые!», прорычал Гурьев, взводя курки обоих пистолетов. «Это те самые лазутчики, что от дома купца Схельтемы бежали!».

«Они пришли за дневником и ключом», быстро произнес Полуэктов. «Евдокия, немедленно погаси свечу!».

Девушка одним быстрым движением накрыла пламя медным колпачком, и горница погрузилась в лунный полумрак. Но страха на ее лице не было: она спокойно подняла со стола свой кремневый пистолет и встала у дверного косяка.

«Елизар, живыми брать не старайся, если полезут в сени», скомандовал Корней, вынимая из ножен легкую офицерскую шпагу с трехгранным клинком, привезенную из Голландии. «Одного завалим, двое побегут. Главное, не дать им поджечь подклет!».

Они бесшумно спустились в сени, готовые встретить ночных татей прямо у дубового порога.

Глава 7. Палата Пушкарского приказа

Короткая и жестокая ночная схватка в заснеженном вишневом саду на Кулишках закончилась прежде, чем нападавшие успели осознать, в какую смертельную ловушку они угодили. Когда первый из татей в длинном бараньем полушубке с тяжелым бердышом наперевес взбежал по обледенелым ступеням крыльца, массивная дубовая створка двери с грохотом распахнулась настежь. Гурьев не стал тратить драгоценный свинец из пистолетов: он сделал стремительный шаг навстречу нападавшему, перехватил ясеневое древко бердыша левой рукой в рукавице, дернул татя на себя и с сокрушительной силой всадил кованое яблоко сабельного эфеса прямо в переносицу врага. Раздался сухой, отвратительный треск ломающейся кости, и человек без единого стона кулем рухнул в глубокий сугроб у подножия перил.

Двое других, крадущихся следом среди яблонь, в ужасе отшатнулись назад. Полуэктов выскочил из сеней, вскинув голландскую шпагу, чей трехгранный клинок хищно и грозно блеснул в холодном лунном свете. Один из нападавших в панике швырнул в подьячего моток смоляного каната, круто развернулся на пятках и со всех ног бросился наутек через сад, перемахивая через заснеженный плетень в сторону соседнего пустыря. Третий попытался вскинуть короткий фитильный пищаль, но отсыревший на лютом морозе порох на полке лишь пшикнул сизым дымком, не дав спасительного огня в затравочное отверстие. Гурьев в два исполинских прыжка настиг беглеца у старой вишни, сбил с ног мощным ударом тяжелого сапога под колено и придавил широким коленом к мерзлой земле.

«Кто послал вас на разбой, собачье мясо?», яростно прорычал Елизар, прижимая холодное граненое дуло пистолета к виску пленного. «Говори правду, пока я тебе уши по самые плечи не отрезал!».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.